

домник, который видел гибель красной галаткии. И об этом был мой роман "Гибель красных богов".

ТОГДА ЖЕ, В 1991-М, накануне ГКЧП, я создал газету "День". Эту газету Александр Яковлев назвал штабом ГКЧП, а меня — идеологом ГКЧП. После краха ГКЧП многие советские газеты и издания сменили своё лицо, отказались от всего советского, стали рупором победивших демократов. Газета "Правда", к своему великому позору, сбросила со своей первой полосы ордена, вручённые за её мирные и военные подвиги. Мы же, газета "День", встали во главе национального сопротивления.

Мы сформулировали идеологию союза красных и белых — союза тех, кто потерпел поражение в 1917 году, и тех, кто проиграл в 1991-м. Мы стремились соединить две эти исторические силы, слить два исторических русских потока, которые иссякли в результате двух либеральных революций — февраля 1917-го и августа 1991-го.

Какой широчайший диапазон был у газеты "День"? У нас печатались монархисты, священники, ревнители Белой гвардии, красные радикалы, экзистенциальные бунтари, интеллектуалы-консерваторы. Газета "День" напоминала громадную клумбу, где произрастало множество экзотических цветов. Но из этих цветов нельзя было собирать свадебные букеты. Это были цветы с шипами, с огненными лепестками, стреляющими пестиками и тычинками.

Мы поддерживали воставшее Приднестровье, и наша газета была перевалочным пунктом, через который добровольцы отправлялись в Тирасполь. Мой кабинет превратился в громадную аптеку, куда люди приносили воюющим в Приднестровье медикаменты, бинты, шприцы. И я отправился в Приднестровье вместе с большой группой русских патриотических писателей. С нами был удивительный человек — русский патриот академик Игорь Шафаревич.

Писатели прятались в окопы, когда нас обстреливал румынский снайпер. Залезали на броню чудовищных самодельных броневиков, склепанных из листового стали. Мы шли через Днестр по плотине Дубоссарской ГЭС вместе с академиком Шафаревичем к другому берегу, где, возможно, засели враждебные снайперы. Я до сих пор вспоминаю тонкую длинную фигуру академика, который переставлял ноги, как журавль, двигаясь между двух воюющих берегов.

Газета "День" была не просто газетой. "День" был организатором огромного народного сопротивления. Мы участвовали в демонстрациях, вставали под дубины законанных в сталь военных, и я помню, как ударил ногой в щит теснившего меня солдата. Гулкий звук этого удара по сей день стоит в моих ушах.

Газета "День" способствовала созданию Фронта национального спасения, куда входили политики самых разных мастей. Там были Геннадий Зюганов и генерал Альберт Макашов, молодые отважные депутаты Бабурин, Константинов и Павлов. Фронт национального спасения стал силой, которая овладела умами парламентариев, и к октябрю 1993 года Верховный Совет, возглавляемый Хасбулатовым, был наш, бело-красный. И в восстание 1993 года вдохновляла газета "День" — газета, погибшая под танковыми пушками Ельцина, сгоревшая во время пожара Дома Советов.

Помню ту страшную ночь в Останкино, когда горело здание телецентра и грузовик с воставшими таранил закрытые двери. Толпы народа требовали, чтобы власть предоставила воставшим телефирм. Тогда из тьмы вдруг полькнули прожекторы, и крупнокалиберные пулемёты ударили по живой толпе. Люди стали валиться, как трава. Помню, как страшно смкнула пуля в живое тело. Мимо меня промчался сумасшедший БТР с обезумевшим механиком-водителем, выглядывающим из люка. Молодой демонстрант кинул в БТР бутылку с горючей смесью.

Восстание было кроваво подавлено. Пошли аресты, а мы, редколлегия газеты "День", бежали в леса и там среди осенних деревьев пили водку, пели, молились, плакали. А потом вернулись в Москву, где ещё сохранялось военное положение, и решили вместо закрытой газеты "День" основать новую газету. И дали ей имя "Завтра".

ОППОЗИЦИЯ была разгромлена танками Ельцина. Вместе с газетой "День" она сгорела в страшном пожаре в центре Москвы, где погиб Верховный Совет, погибли баррикадники, погибло, не успев родиться, то, что звалось российской демократией. Россия омертвела. Мёртвая, она лежала на дне своей истории, она истекала. Как из туши мёртвого кита, проглызая тухлую кожу, выплывает множество жучков, личинок, ядовитых сороконожек, жёртих разноцветных букашек, радужных скользящих червей, так из мёртвой России выплывает огромное количество странных химерических существ, подобие которых можно отыскать на полотнох Босха. В русской политике, искусстве, шоу-бизнесе, педагогике, экономике появились странные долгоносики, человекорыбы, зверюшцы, женщины сдесятью грудями, мужчины о трёх головах. Их внутренние органы висели на них снаружи. И крикливые депутаты, обольстительные телеведущие, новые собственники нефтяных полей и алмазных приисков казались загадочными уродами, чьи мочевые пузыри, желудки и почки висели поверх их костюмов и платьев. И все они были подёрнуты разноцветной плёнкой гниения.

Это был мир призраков и миражей, людей, что не отбрасывали тени, и теней, которые отбрасывали от себя людей. Этот призрачный мир с химерическими героями наполнял мои романы. В них из книги в книгу тянулось иногда тихое, иногда жуткое безумие — то безумие, которое переживала Россия.

Березовский старался меня обольстить и приблизить к себе. Наймиты Гусинского били меня каскетом в висок. Газету "Завтра" судили, старались закрыть. Я изывал от бесконечных судебных процессов. Но мы продолжали сражаться, выкликая другие времена, которые казались неправдоподобно далёкими.

Несколько раз я ездил в воюющую Югославию. В Боснии Радован Караджич, молодой и страстный, читал мне свои великопленные стихи. Я помню старую утомлённую пушку, которая устало ухала, посылая снаряды в Сараево, и сербские артиллеристы предлагали мне дёрнуть верёвку, чтобы и я произвёл выстрел.

С генералом Ратко Младичем мы стояли на обочине дороги, по которой шли грузовики с добровольцами. И сербы, набишися в кузов, увидев своего командира, победно воздевали руки.

Я был в Белграде весной, когда весь город цвёл бело-снежными садами вишен. И среди этих белых садов чернели взрывы американских крылатых ракет. Вместе с жителями Белграда я стоял на мосту через реку Саву, образуя живой щит, не давая американцам разрушить мост. Мы пели чудесную сербскую песню "Тамо далеко", а над нами летели ракеты, и среди белых садов расцветали их чёрные взрывы.

Я БЫЛ НА ПЕРВОЙ чеченской войне. Министр обороны Грачёв любил мои книги, мои афганские романы стояли на его книжной полке. И он, невзирая на то, что я был яростным антиельцинстом, отправил меня на войну, веря, что я не использую свой военный опыт против России, изнывавшей в невзгодах.

Я был в Грозном, когда ещё шли бои за Сунжей. С группой автоматчиков мы пробрались среди иссечённых осколками деревьев, под которыми лежали убитые. Дворец Дудаева казался гигантской, рыхлой, пробитой снарядами вафлей, из которой сочился дым. На разрушенной кровле дворца трепетал, пробитый снарядами и пулями, обгорелый российский триколор, установленный нашими морпехами. И тогда, в Грозном, глядя на этот трёхцветный флаг, я примирился с ним. Поклонник Красного победного знамени, я больше не испытывал отвращения к триколору.

Окончание — на стр. 8



тийными функционерами, презирающими Систему, страну и народ, уже примеривающими на себя одежды будущих хозяев новой системы, её прокураторов — в белом плаще с кровавым подбоем". В "экзурсиях" героев "Меченосца" по кружкам-кругам анонального (зада позднесоветского социума слышна перекилка с романом В.А. Кочетова "Чего же ты хочешь?". Оба автора проводят нас по репрезентативным, как сказал бы социолог, идейно-политическим группам советского общества. У Кочетова их меньше, у Проханова — больше, но ведь в конце 1980-х, в ситуации разложения советского общества, их и было больше, чем в 1960-е.

Путешествуя по "кругам антисоветчины", словно попадаешь в мир какалопии — это термин ввёл Энтони Берджес в романе "1985". "Какоп" — плохой, нечто вроде немецкого der Dreck (но не столь сильное, как die Scheiße, скорее латинское cacatium или, по-русски говоря, "кака"). Какалопия — это мир, сделанный из чего-то нехорошего,

дарство". Но это она грызёт государство. Ты пожелаешь доносить на бобров, войдётся в кабинет с правительственными телефонами и увидишь огромного бобра, грызущего ствол государства". Так оно и происходит. Когда Клубников по сути приказывает Листовидову готовить из кружковских микрофреров новых лидеров, капитан понимает, что центр антисоциального заговора или обнаружен. Это и есть ответ на вопросы, поставленные Прохановым в "ЦДП" и "Дне", и ответ этот предьявлен в романе потрясающим по силе сценной и монологом Клубникова. Листовидов понимает, что "генерал и был тем огромным бобром, подгрызающим ствол государства. Листовидов видел салыный мех, жёлтые резцы, плоский резиновый хвост. Бобёр восседал в кресле среди телефонов правительственной связи. Следовало кинуться на него и убить. Спасти государство".

Генерал захлопнул папку. Казалось, он угадал безумный порыв Листовидова.

рию формируют не планы, а ошибки планирования. Но вот вопрос: мы ли управляем историей или она управляет нами? Мы стараемся овладеть историей, взяв её в плен, планируем её ход. Но, не ведая того, закладывая в наши планы ошибки. Сквозь эту ошибку, как сквозь игольное ушко, история выскальзывает на свободу, освобождается от нас. Будущее — это общино спланированное настоящее". Какую же ошибку заложили в свои планы Клубниковы? Чего не учли? Нескольких вещей. Первая ошибка — рассуждая о "ветхом государстве", они почему-то решили, что они к этой ветхости не относятся. Когда-то А.А. Зиновьев сказал, что если вы спомаете старый сарай, то из его досок вы сможете построить сарай же, только хуже качеством. Ломая систему, коллективный Клубников даже не думал о том, какие силы направляют его деятельность, наивно полагая, что в тех сетях-паутинах наднационального элитного влияния и управления, куда их допустили, они — среди пауков. Это одна сторона дела.

гусеницей, та превращается в бабочку, но личинки остаются и в ней и продолжают поедать её живёём, по окончании процесса личинки превращаются в осу-наездницу, которая покидает уже мёртвую бабочку. Судьба завербованных — стать социальным вариантом "гусеницы" для рождения новой "осы". По Клубникову, Листовидов и должен стать осой-наездницей. "Не просто вербуйте, — говорит генерал, — а откладывайте яички на будущее. Пусть завербованные вами будущие министры, депутаты, банкиры переместятся в "обновлённое государство". Вместе с ними переместится и вы. Их не станет, а вы отряхнёте оставшуюся от них труху и продолжите существование в "обновлённом государстве".

Но "ладко было на бумаге", в процессе одной из вербовок, то есть оплодотворения вербемого будущей смертью, до Листовидова вдруг доходит очевидное: а ведь неизвестно, кто оса, а кто — гусеница, уж не он ли? Вот этого обратного эффекта и не предусмотрели Клубниковы (а он-то и работал в 1990-е). Равно как и того, что, полагая себя осами-наездницами, они сами для кого-то более сильного и далёкого могли выступать в роли гусеницы.

Но были и более близкие, а не забугорные "осы". Конкретная история показала: Клубниковы не учли степени криминализации позднего советского общества, широту и глубину её влияния на позднесоветское общество и его верхи — партocrats и спецслужбистов. А ведь умные люди это прекрасно понимали. Например, в середине 1970-х годов советский экономист-эпистим Я.А. Певзнер писал в дневнике, что если в Советском Союзе когда-нибудь победят рынок и связанная с ним "демократия", результатом станут распад СССР (разбегутся все республики, кроме, может быть, Белоруссии), и, самое главное, тотальная криминализация всех сфер жизни. Так оно и произошло. В 1990-е возник симбиоз чекистов, чиновников и криминала, задавая ЧНЧ (звучит почти как Чичиков) — глубинная власть по-российски, которая со временем надела государственные одежды. И мистифици ей дорогу Клубниковы власти этой окаянщины не нужны так же, как в "Золотом ключике" столетний Говорящий Сверчок — Буратино, который со словами "убирайся отсюда!" запустил в него молотком. Их будущее действительно оказалось плохо спланированным настоящим. А всё почему? Потому что, как повторил за РИ. Косолаповым Ю.В. Андропов, "мы не знаем общества, в котором живём и трудимся". Кто-то скажет: но в конечном-то счёте победили чекисты. Да, но какие? Коммерческий чекист Гривов из романа "Новый вор" Юрия Козлова — это чекист клубниковского разлива? Или уже не совсем?

В МИНУТЫ РОКОВЫЕ

плохо пахнущего. В "Меченосце" мы попадаем в какалопическую сферу позднесоветского общества. Значительная часть этой изначной сферы превратится в постсоветское общество и станет его лицом, а точнее — рожей. Впрочем, не сама превратится, а её превратят. Превратят такие, как начальник Листовидова генерал-полковник Иван Фёдорович Клубников, в качестве прототипа которого угадывается Филипп Денисович Бобков, в 1984–1985 годах тоже генерал-полковник, один из "птенецов гнезда" Евгения Петровича Питовранова. Задуманная Клубниковым, а также другими генералами, высокопоставленными номенклатурщиками и министрами операция сводится к внедрению Листовидова в "зоны аномальных явлений", в антисоветские кружки и к вербовке их лидеров. Но не для того, чтобы уничтожить эти кружки, а для того, чтобы с их помощью опрокинуть старое, ветхое, сгнившее государство и создать новое, оседлав поднимающиеся из бездны перемены. Это для Листовидова "аномальные зоны" — помойка, и он прямо говорит об этом. На что героиня романа Варя, в конце оказывающаяся подвешенной к нему сотрудничице КГБ и специалистом по этим самым зонам, возражает: "В этих домах вершится история. У истории нет покоев. В этих домах история себя обнаруживает. Не на партийных съездах, не на космодромах, не на великих стройках. История обнаруживает себя в шорохе чуланов... В этих чуланах видно, как гибнет государство... Каждый кружок, где мы побывали, — это норка, где живут маленькие зверьки. С огромными зубами. Каждый выгрызает из государства крохотный ломтик. Ломтик за ломтиком — и ствол государства начинает качаться и падает".

Это кажущееся очевидным суждение на самом деле — глубокая мысль самого Проханова, вложенная в уста героини. Справедливость и точность этой мысли полностью подтверждается эволюцией, причём не только социальной, но и биологической. Советская Россия рождалась не в парадах и войнах России самодержавной, а в зероверских и большевистских кружках, капитализм — в "чуланных" союзах протестантов, в действиях таких людей, как Мартин Лютер, которых гуманизмы типа Эразма Роттердамского называли *vi vi obsecr* — тёмные (в смысле "неотёсанные") мужики, послеантичное будущее рождалось в христианских катакомбных подпольях позднего Рима. В биологии это называется рецессивной мутацией, когда виды, вытесненные на периферию экологической ниши, но обладающие универсальной способностью жить на "помойке", на обочине, при изменении ситуации быстро занимают место бывших цветущих хозяев прежней жизни (для сравнения: млекопитающие и динозавры).

Аномальные зоны в позднем СССР празднуют свой пикник не только на обочине. Они прорастают наверх. Процесс подрыва государства идёт не только снизу и сбоку, но и сверху. Когда Варя называет комсомольских вожаков, готовящих сброс государства, бобрами, подгрызающими его ствол, и Листовидов предлагает поместить их в "бобровый заповедник" или пустить на воронки, в ответ он слышит: "Этот заповедник, мой милый, находится на Старой площади, а там совсем другие бобры... Ты говоришь: "Госбезопасность! Она спасёт госу-

— Государство, Сергей Максимович, переодевается. У него большой гардероб. Там есть генеральские мундиры, рясы священников, смокинги, тюремные робы". И — финальная фраза, бросок завершает боевым приёмом, которым генерал вербует-добывает капитана, апеллируя к истории: "Мы идём туда, куда нас ведёт история. Когда ломается мир, под обломками гибнут прежние хозяева мира, а встают из развалин новые. Гибнущий мир — место, где плодятся будущие вожди. Майор Бонапарт под Тулоном засыпал картечью город и превратился в Наполеона. Капитан госбезопасности, волевой, просвещённый, переживший в младенчестве смерть и спасённый для великих свершений, — такой капитан может встать из развалин". По логике генерала, ветхое государство нужно доразвалить и похоронить. Символ похорон отжившего государства в романе — похороны Черненко, причём мертвецом здесь оказывается не только Черненко, но и организатор траурного мероприятия Горбачёв, которому суждено стать новым и последним генсеком. Листовидов всматривается в него, и его веселит мысль о том, что Горбачёв не догадывается о своей роли в истории: "Он был землекоп, копавший могилу "ветхому государству". Он спускал это "ветхое государство" в могилу истории... В гробу, заваленном цветами, лежало "ветхое государство". Горбачёв оказывал ритуальные услуги, запечатывал гроб "ветхого государства", ставил сургучную печать с клеймом карикатуцы... Горбачёв с понурой грубью стариков — "мертвецы, погребаяющие мёртвых", эдакие морвиваны высокономенклатурного разлива.

V

В романе ни Клубников, ни Листовидов, ни Варя не знают, увенчается ли успехом их операция. В отличие от них, Проханов и мы знаем: не увенчалась. Попытка снарядить в своих интересах новую русскую птицу-тройку не удалась. И в этом плане проигрыш коллективного Клубникова — позорный: имея на руках если не все, то многие козыри, они проиграли свою партию — в обоих значениях этого слова, они тоже в известном смысле "забодили меня комар". Предатели, которых они готовили, оказались нежитью, и это — приговор тем, кто самоуверенно полагал себя игроком, а оказался всего лишь колодой старых карт. В известном смысле история поступила с ними, при всех их спецнахках, как Ихарев из тогелевских "Игроков" с талисманно-любимой, но не оправдавшей надежд колодой карт "Аделаидой Ивановной", швырнув её от дверей: "Дамы и двойки летят на пол". Тузы и короли, добавляю я, тоже.

У Проханова сразу несколько ответов на вопрос, почему проиграли Клубниковы, и это делает "Меченосца" произведением не только литературы, но и аналитики. Предьявляя первое объяснение, Проханов выходит на проблему планирования в истории, управления историей — на то, что я называю проектно-конструкторским подходом к истории. Вот какие мысли вкладывает писатель в уста генералу Клубникову: "Человек только и делает, что планирует историю. Другой вопрос, в какой степени συμβαются подобные планы. Их результаты отличаются от замыслов. Возникает совсем другая история. Исто-

Другая — в том, что у планировщиков "переодевания государства" не было понимания, какие силы русской и мировой истории они выпускают своими действиями, словно джина из бутылки. Нередко именно у спецслужбистов-оперативников встречается самоуверенная короткость мысли — восприятие истории как спецаперации гигантского масштаба. И если для отрезков относительно спокойного развития систем это пусть с натяжкой, но допустимо, то для периодов разрыва времён, наступления "минут роковых" это хуже преступления и ошибки, это чаще всего самоубийство, как минимум — политическое. Например, забудовщина могла частично сработать в 1870-е, в начале XX века это была пуля в лоб в прямом и в переносном смысле.

При всём уме спецслужбистов, их мысли нередко оказывались коротенькими, как у Буратино. Генерал сам роняет фразу: "Когда верхний иерархический слой начинает гнить, мнение охватывает низшие уровни и организация погибает. Высшей формой организации является государство. Если вы замечаете гниение низших слоёв, значит, гниением охвачены верхи". Последней фразой генерал по сути выносит приговор самому себе и перспективам своей "затейки".

В романе Олега Маркеева "Угроза вторжения" (события происходят в 1993–1994 гг.) промиссестер подковённых интриг говорит одному из нуворишей от власти: "Вы, как все нынешние кремлёвские хозяйчики, не ведаете, что творите...". Своей беспотковой операцией вы разбодили силы, о существовании которых даже не подозреваете. По собственной глупости вы вторглись в сферы, причастности к которым не имеете. Хуже — даже не можете иметь! И за вторжение придётся платить по полному счёту". Но то в романе Маркеева, в реальности всеисильному генералу и его сообщкем сказать это было некому. Результат — на экспресс "История" они опоздали. Спецоперация, какие бы тёплые места Клубниковы ни заняли после 1991-го, обернулась для них злым роком — потеря воеохватывающей власти, наркотик которой не сравним для этих людей ни с какой кормушкой. Клубниковы, что бы они о себе ни думали, сами были частью "ветхого государства", манипулирующие ещё большей ветхостью. Только они этого не знали — не положено. Если Горбачёвы — это просто прошшедшее время, то Клубниковы — прошшедшее в настоящем, но таком, которое без будущего, по Петру Вяземскому: "Во мне найдётся, быть может, след вчерашний, / Но ничего уж завтрашнего нет". А ведь главный удар по государству, которое заговорщики считали ветхим, наносился не из прошлого, а из будущего, из завтра, и они этот удар пропустят. Об этом символически свидетельствует финальная сцена романа: Листовидов помогает психоильным в пижамах сажать саженцы корнями вверх. Не этим ли по факту, по результату оказалась вся операция Клубниковых?

Вторая ошибка связана с Листовидовым, а точнее с тем, какое трансформирующее влияние оказала операция на её непосредственных исполнителей. Речь о "ловушке осы-наездницы". Инструктируя Листовидова, Клубников говорит, что процесс вербовки нынешних антисоветчиков как кандидатов в управленую Лубянской элиту будущей новой (то есть по факту — антисоветской) России срочни тому, как осу-наездница откладывает яйца в тело жирной гусеницы. Личинки, вылупившиеся из яиц, питаются

VI

Вовсе не так просто обстоит, на мой взгляд, дело с жанровым своеобразием трилогии, особенно "Меченосца". Вообще, у русской литературы и пришедшей к нам в XIX веке с Запада жанровой сетки интересные, скажем так, отношения. Отвечая на вопрос о жанре, в котором написана его великая книга, Лев Толстой заметил: "Что такое "Война и мир"? Это не роман, ещё менее поэма, ещё менее историческая хроника. "Война и мир" есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой он выразился". Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведений могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не даёт ни одного примера противного". Толстой в качестве примера отступления от европейской жанровой нормы приводит "Капитанскую дочку". И он, конечно же, прав, подчёркивая систематичность "отступления". Его пример можно дополнить: "Евгений Онегин" — роман в стихах, "Мёртвые души" — поэма. А к какому жанру отнести "Былое и думы" Герцена, "Дневник" Достоевского, почти всё, написанное Розановым? Правда в том, что русская реальность плохо вписывается не только в прокрустово ложе триады "экономика — социология — политология", но и в сетку западных литературных форм, отражающих буржуазную реальность. Трилогия Проханова — цикл политических романов, и в значительной степени это так. Но это "так" — неполная характеристика. На мой взгляд, эта трилогия, особенно "Меченосец" (и это роднит его со многими другими вещами Проханова), — поэма в том смысле, который вкладывал в это слово Гоголь, определяя как поэму "Мёртвые души". Я уже не говорю о том, что трилогия посвящена душам — живым и мёртвым, ведущую борьбу не на жизнь, а на смерть. Приходится с сожалением констатировать: мёртвых душ в трилогии больше, чем живых, не говоря уже о бесках, полубесах и бесенятах "из неудавшихся, с насморком", на которых мы насмотрелись в "аномальных зонах". В целом это неудивительно:

